Кириллыч — старый пономарь. Молодые батюшки называют его алтарником, а он никак не хочет соглашаться на новое слово. И если так его называл протоиерей «еще тех времен», значит, Кириллыч — пономарь до конца.

Он подает священнику кадило, выносит свечу, читает поминальники и записки. Стихарь у него поношенный, но всегда чистый и отутюженный. Да и сам пономарь никогда не выходит из алтаря непричесанным или с растрепанной бородой; в кармане его подрясника всегда маленькая расческа.

Прибирается в алтаре Кириллыч, когда в храме только он да сторож. Убрав пылесос, сидит в тишине. Мерцает лампадка, шевелятся губы — много псалмов он знает на память.

Когда-то жизнь его кипела. Гонялся он за ветром по морю житейскому, бросался в крайности. Двоих детей родил: сына от первого брака, дочку от второго.

Эх, кабы раньше к Богу прийти, не наломал бы столько дров… Глядишь, и священником стал бы, но… что есть, то есть. А может, оно и к лучшему. Много он повидал священников. Разных. Тот самый протоиерей — высохший старик с больными ногами (здоро-

вье в лагерях потерял) — говорил ему: «Хочешь веру сохранить — не входи в алтарь». А как не входить, если влечет благодать? Да, благодать. В этом Кириллыч не сомневался и ни одной минуты не жалел, что стал пономарем. И дело не в том, что подавать кадило легче, чем сослужить архиерею или выслушивать исповеди: во время службы он видел в окне деревья, а священник — только тексты молитв.

Пономарь служил в деревянной церквушке на кладбище. По выходным тянулись серые платки прихожанок, занимали места на паперти редкие нищие, ожидали своей очереди приехавшие на крестины. Неспешная жизнь в окружении мертвых. На кладбище уже не хоронили.

Под окном алтаря росли две березы. Кириллыч называл их сестренками. Он видел, как наливаются силой стволы и крепчают ветви. Из худосочных отроковиц они выросли в статных красавиц.

Перед службой Кириллыч обычно заходил на какую-нибудь дальнюю могилу, усаживался на скамейку и долго наблюдал, как колышутся тени на крестах и памятниках. Потом надевал очки и открывал Псалтирь. Книга досталась в наследство от деда. Полвека провалялась она в шкафу среди пожелтевших фотографий, а теперь почти всюду сопровождала пономаря. Несколько раз он отдавал ее переплетчику, сам делал закладки и очень берег.

Прочитав псалмы до «славы» и перечислив имена, Кириллыч отрывался от ветхих страниц и слушал, как среди ветвей шумит ветер. Ему казалось, что деревья внимательно слушают священные песни царя Давида. Деревья — они ведь по-своему живые, думалось пономарю, это тоже прихожане, а кладбище — это храм, и он — Кириллыч — в этом храме своего рода иерей.

Он читал по-церковному, нараспев, стараясь проговаривать каждую букву, чтобы ничего не потерять из древней кириллицы, а когда заканчивал кафизму, кланялся в пояс на крест купола.

Когда на глаза попадались сгнившие корни или ствол, изъеденный паразитами, Кириллыч сокрушался: «Грехом Адама в мир вошла смерть и порча. И по моим грехам страдают эти безвинные деревья». Вздыхал и шел на службу.

Зимой пономарь на могилу не сворачивал, но дедову Псалтирь продолжал носить с собой. Он читал ее в тишине храма при зажженной свече. Домой Кириллыч не спешил. Жена называла его «фанатиком, кормящим попов». Он, по обыкновению, отмалчивался, понимая, что это она несерьезно.

С приходом весны Кириллыч уезжал в «сад». Так он называл клочок земли с летним домиком и теплицей, окруженный высокими соснами. После огородных трудов Кириллыч любил сидеть в кресле на веранде. Жена на даче бывала редко.

Этой осенью он болел дольше обычного.

Однажды, когда он ночевал в саду, ему приснился дед. Светлая длинная рубаха, ясный взгляд. Дед читал псалом, и так хорошо было от его голоса, что Кириллыч проснулся в слезах. Тишина не покидала его весь тот день. Псалом из сна он знал наизусть — номер совпадал с датой крещения. До нее оставалось три дня.

В тот день Кириллыч причастился. Подходя к Чаше, увидел, как радостно играют солнечные блики на Ее краях. После литургии он снова прочитал все поминальники, стараясь вспомнить лица ушедших прихожан. Прибрался в алтаре, аккуратно сложил облачение. Потом молча стоял на коленях у Распятия, прижавшись лбом к ногам Спасителя.

Со своими любимицами — березками-сестренками Кириллыч прощался долго; что-то шептал, гладил бересту… Глаза его увлажнились, когда на плечо вдруг упал желтый лист.

Жена возилась на кухне. Кириллыч убавил громкость телевизора, обнял жену и попросил прощения «за все». Она пожала плечами, покачала головой и снова принялась за черепушки. Кириллыч отправился в сад.

Печь топить не стал, сразу сел в кресло. Когда-то он мечтал встретить смерть именно здесь — в одиночестве, в этом кресле.

Шумел ветер и плавно раскачивал стволы сосен. Осина трепетала, и казалось, она вот-вот сбросит багряную ризу. Верхушки елей цепляли облака, медленно тянувшиеся по холодному небу.

Кириллыч ждал. Начал накрапывать дождик…

Ветер крепчал и раскачивал тяжелый лапник. Дождь стучал по стеклам теплицы. И тогда Кириллыч понял, *что* такое есть ветер и *что* такое есть дождь. Откровение нахлынуло внезапно.

Ему отчетливо слышались строки и в шуме ветра, и в перестуке капель. Строки псалмов. И деревья вторили этому неспешному чтению. Деревья молились на своем языке. И Кириллыч понимал этот язык. На каждой «славе» сыпались листья, после каждой кафизмы вздрагивали верхушки елей…

Он слышал и слушал. Ему уже не было холодно. Он сидел в кресле на веранде, и холодные старческие руки бережно держали дедову Псалтирь.